

ВСЕ ЗАЙЦЫ ТАНЦУЮТ ДЖАЗ



ВАСИЛИЙ НАЦЕНТОВ
Родился в 1998 году в Наменной Степи Воронежской области. Окончил географический факультет Воронежского университета. Стихи и проза публиковались в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Юность», «Наш современ-

нин», «Москва», «Дружба народов» и др. Лауреат Международной премии «Звездный билет», финалист и обладатель спецприза от журнала «Юность» премии «Лицей» имени А.С. Пушкина. Член Союза писателей России и Союза писателей Москвы.

Раньше я любил все советское. Все эти вымпелы и значки. Начиная с наградного «За беспощадную борьбу с контрреволюцией», который в тридцать втором хотели сделать орденом Дзержинского, и заканчивая латунным «Ударником коммунистического труда» производства «Ленэмальера».

Маленький, вымпелообразный. На первом плане комбайн, убирающий хлеб, дальше – идущий (всегда) вперед товарняк, башенный кран и ракета, одним взмахом художника рвущаяся в небо из слепого пшеничного поля. Образец конца 60-х. Да, был, конечно, Ильич на фоне знамени (красного, если что), скрещенные серп и молот, из основания которых росли две веточки – лавровая и дубовая. Первая – для поэтов, вторая – для атлетов.

У трактористки Паши Ангелиной был, наверное, другой. Может быть, в форме медальона с маленькой табличкой внизу «ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 6 УСЛОВИЙ Т-ща СТАЛИНА». Или в виде пшеничного венка с ленточкой «УДАРНИКУ ВЫПОЛНЕНИЯ УКАЗАНИЙ» и трехчастной припиской внизу «СС / СТАЛИНА / СР». А вот комбайнер Александр Фрайденберг вполне мог начинать и с моего «Ударника».

Но я, конечно, не об этом.

«ПОМНИ: МНОГО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБ СТРАНЕ ПОЛЕЗНЫМ СТАТЬ!» – висит у меня на кухонной двери плакат. Год 1984-й. Художник Р. Сурьянинов. Про-

дам за пятьсот рублей. Готов сговориться за четыреста пятьдесят, если самовывоз.

Когда умер Валентин Яковлевич, комбайнер Фрайденберг только родился, а трактористка Ангелина уже написала свою книгу «Люди колхозных полей».

Когда Валентин Яковлевич умер, он встретился со своим другом доктором Дапертутто. Одно радует: не стал жертвой испанской инквизиции. А ведь эпоха разгибания саксофонов могла распорядиться по-другому, потому что Валентин Яковлевич умел, пожалуй, самое страшное в те годы – импровизировать.

Это и останавливало страну на пути к коммунизму.

Сталин пас баранов на окраине Гори и повторял: «Коммунизм в отдельно взятой стране, коммунизм в отдельно взятой стране...» Когда к нему спустился с вершин красавец Маркс и сказал, что ничего подобного не писал, Сталин отмахнулся: «Отойди, дедушка, это я нэ тебе, а этим баранам!» Ну и самому себе, видимо.

Валентин Яковлевич умер, и ему кланялся Агриппа д'Обинье, дед госпожи де Ментенон, возлюбленной Людовика XIV, потому что Валентин Яковлевич не только импровизировал, но и переводил и даже публиковал (в сорок девятом!) «Трагические поэмы» великого кальвиниста.

Мысль не должна
останавливаться ни перед
чем, но она замирает перед
Богом, как голос молодой
певицы, не гениальной,
а просто талантливой,
перед куполом цирка.
Дальше? Музыка
растворяется в воздухе,
как человек в любящем его
народе.

*Когда Жодель пришел, оставив наши стены,
еще от смертных муж бессилён и разбит,
когда подземных царств ему открылся вид,
он с облегчением вздохнул от перемены.*

*Он Ахеронт нашел приятней нашей Сены,
Парижа нашего приятнее – Аид:
хоть этот порт черней, но все ж не так смердит,
как жизнь там, наверху, и все ее измены.*

*Харон берет его в свой погребальный челн,
и говорит Жодель, плывя во мраке волн:
«Нельзя ль мне утонуть, чтобы скончаться снова.*

*И столь же выгадать еще один разок,
как в этот первый раз?» Но больше он не мог
переменить жилье для счастья двойного.*

При чем здесь Жодель? Вы еще про Аид спросите! Нет, я понимаю, что все это сложно (для наших дней). Я и сам, если бы увидел хоть строчку всего вот этого в фейсбучном посте, сразу же перелистнул. Но как можно еще – про Валентина Яковлевича?

Американцы сочиняют новую «Call of Duty», выставляя нас на весь мир захватчиками и оккупантами, а нам даже в голову не придет придумать что-нибудь получше, выставить сходственный противовес (хотел написать не «сходственный», а «конгениальный», но удержался).

Я могу не играть, не смотреть, не читать, но в последнюю очередь подумаю о том, что можно сделать лучше. Конечно, если запретят, я буду изыскивать любую возможность, чтобы посмотреть, что же там такое запретили, потому что запрещают обычно что-то очень хорошее, но точно не стану делать лучше, даже если подумаю. Я опускаю руки. С благодарностью. Я русский человек. Валентин Яковлевич был евреем.

Солнечный луч проявляется на кухонном столе, медленно движется к краю, и хочется жить долго, чтобы ничего никуда не исчезало, чтобы все про всех помнили и всех любили. Теперь, когда так много жизни – только успевай записывать, – я стою, разинув рот. От жалости. От злости. От удивления. Теперь, не выходя из дома, можно одновременно оказаться в эпохе Фердинанда II или Берии I, а настенные часы ОЧЗ принять за Торквемаду.

Вчера у подъезда повесили объявление: убежище находится в подвале вашего дома, ключи можно взять там-то. Цветет барыня, поют дрозды и все зайцы танцуют джаз. Продано! Следующий Лот... А где же жена его? И как, наконец, ее имя? Все мужчины у меня по именам-отчествам: Петр Палыч, Александр Моисеевич, Иван Петрович et cetera. Имена женские я люблю без отчеств, но что делать с ней, безымянной?

Лучшая получилась у сэра Торникрофта в 1878 году. Столько лет спустя! Да и что нам, Господи, время? Легкие волны одежды. Две стражи груди. Кверху собраны волосы всей копной затылка. И этот прощальный, скорбный, вечный взгляд. Он уходит в долину Керек, в гору и в горе, ее муж и ее взгляд. От дочерей их, как реки от родников, идут моавитяне и аммонитяне, и я оплакиваю ее и ишу, как выпавшую из корзинки ягоду, ее имя.

Я распечатал фотографию скульптуры на черно-белом рабочем принтере и поставил дома на кухонном столе, прижав к стене сахарницей. Жена Лота для меня – идеал патриотизма.

Смотрю на нее каждый вечер, и мне ничего и никуда не нужно.

Я настолько слабый, что даже болеть уже не могу.

Мысль не должна останавливаться ни перед чем, но она замирает перед Богом, как голос молодой певицы, не гениальной, а просто талантливой, перед куполом цирка. Дальше? Музыка растворяется в воздухе, как человек в любящем его народе.

Вопрос о том, что остается, и восклицание «что останется!» постепенно сливаются, а от-вращение к телу и всему физическому сдерживается одним: по образу и подобию. И все. Нечего бояться. Своих грехов или простого «а как ты жил?». Не будем же мелочиться! Хотя сам факт во-прошания открывает другую перспективу, как ко-гда поднимаешься на перевал и видишь вдруг всю горную грядку и понимаешь, что все равно никогда не одолеешь этого.

Но не может ли подобное служить наглядно-стью для конечности всякой конкретики и беско-нечности всякой объективности – вполне, между прочим, постижимой, если не замыкаться на ра-циональности или эмпиризме?

Представим, что человек поднялся на перевал. Он не первый, кто это сделал, но единственный (в том смысле, что сделал это один). Он понима-ет, что опыт его не уникален, и в подтверждение тому находит под огромным молочноцветковым колокольчиком книгу, где все, что он только что пережил, подробно описано. Но он, несколько по-медлив, решает идти дальше, уже зная о том, что книга следующего перевала должна быть похожа на эту. И все-таки идет, потому что, не одолев следующий перевал, не имеет полного права на это знание.

Мне как другу и сопернику Валентина Яковле-вича – желтое солнце тоже страшнее черного. Он был хрупким, напуганным и уязвленным, то есть честным, достойным и бесстрашным. И жил он так, как будто уже умер, учил фокстроту Эйзенштейна и ставил танцы у Мейерхольда.

Наш общий приятель Дувид Меерович, относя-щийся к человеческому телу куда как снисходи-тельнее, сказал однажды, что глаз его жены вос-ходит, как черное солнце.

Безжалостно, что мы сейчас забыли его, как однажды англичане Джона Донна, а немцы Гель-дерлина. Внуки Выдры должны знать, как в первые дни земли пало черное в зеленом венке солнце! Теперь каждую ночь мы поклоняемся ему.

И пусть древность буквы без новизны духа ближе к греху. Сильные будут терпеть и сильные муки. Как хорошо мы знаем все это, и потому каж-дую ночь подходим к зеркалу и, сколько хватает взгляда, стараемся сохранить Москву. То, что от нее осталось.